

слов для своей мысли, и уже открыл рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием, чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты».

Достоевский не стеснялся ни болезни своей, ни столь тяжелых для постороннего взгляда припадков. Более того, он охотно рассказывал о них — тому же Страхову. «На несколько мгновений, — говорил он, — я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».

Спустя несколько лет то же самое почти дословно повторит в романе князь Мышкин: «Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!»

Томас Манн, анализируя эти болезненные вспышки-откровения русского классика, статью о котором назвал «Достоевский — но в мире», высказывает предположение, что они «уходят корнями в сексуальную сферу». Эта фрейдовская гипотеза имеет, наверное, право на существование, однако в равной степени можно сказать, что ослепительный миг перед наступлением полного мрака есть миг перед исчезновением, пусть и не окончательным. Но может быть, и окончательным тоже, а это уже миг перед смертью... Не оттого ли Достоевский так спокойно и относился к смерти, что неоднократно смотрел ей в глаза, причем не только на Семеновском плацу? Каждый такой припадок мог ведь стать последним... И что с того! Заявив вслед за автором, что за подобное мгновение можно жизнь отдать, князь Мышкин добавляет без малейшего колебания: «Конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни».

Но ведь другая пара глаз, воспринимающая мир иначе, чем первая, — это уже другая личность, а второе зрение — это второй человек. Не тут ли начало раздвоения, исток той самой двойственности, о которой столько писал Достоевский?

Через две недели после выхода в свет произведших фурор «Бедных людей» был закончен «Двойник», который у многих вызвал оторопь. Было от чего. «Добрые люди... по двое никогда не бывают», — с едва скрываемым осуждением говорит господину Голядкину его неповоротливый, косноязычный, но себе на уме слуга Петрушка. То есть двойственность — симптом неблагополучия,

знак беды, что сам Достоевский понимал, разумеется, не хуже голядкинского слуги.

25 лет было романисту, начало жизни, во всяком случае, творческой жизни, но и в конце ее, меньше чем за год до смерти, он признается одной своей корреспондентке, жене профессора-окулиста, который лечил его: «Вы мне родная, потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время большое наслаждение». Дальше он говорит о ее замечательном уме, о ее редкой совестливости и — опять, как вздох отчаяния, как приговор: «Но все-таки эта двойственность — большая мука». И четыре месяца спустя, в другом письме, другой корреспондентке: «Двоиться человек вечно, конечно, может, но, уж конечно, будет при этом страдать».

Таким образом, Шестов прав: второе зрение не стало прямым следствием драмы на Семеновском плацу, однако нет никаких сомнений в том, что Семеновский плац эту двойственность многократно усугубил. И, стало быть, усугубил будущие, до конца жизни страдания... Ибо что может быть хуже, когда внутри тебя без устали враждуют и бьются друг с другом два совершенно разных существа! Есть лишь один способ их радикального примирения, и Достоевский способ этот хорошо знал. Вскользь упоминая о своей тетушке, один из второстепенных героев «Двойника» «пробрасывает» такую фразочку (главный герой, впрочем, не обращает на нее внимания): «Она тоже перед смертью себя вдвойне видела...»

Стало быть, раздвоенность — не только знак беды, симптом душевного неблагополучия, но и вестник смерти. В случае с Достоевским ждать ее после окончания «Карамазовых» оставалось совсем недолго... Он готовился к ней. Во всяком случае, изменился: внутренне отмяк, стал терпимей к окружающим — как и многие его герои, на которых смерть уже наложила свой отпечаток. «Уж он теперь очень, очень редко набрасывается на кого-нибудь, не сидит, насупившись», — записывает в дневнике через три дня после окончания «Братьев Карамазовых» давняя знакомая Достоевского Елена Андреевна Штакеншнейдер, в петербургском доме которой образовался в то время своего рода художественный салон. «Достоевский заметно изменился к лучшему», — с удовлетворением отмечает она. Причем, как следует из того же дневника, изменение это произошло не вдруг, не в момент завершения романа, а гораздо раньше, потому что гораздо раньше он почувствовал близость конца.

«Я здесь сижу, — писал он в августе 1879 года из Эжмса, — и беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну через год или через два, и что же станет с тремя золотыми для меня головками после меня?»

Не ошибся, срок назван точно — реальный, увы, срок, а не те мифические двадцать лет, которые мерещились ему (или правильней сказать, мечтались) в минуты опьянения успехом. Но опьянение быстро проходило, наступала трезвость, а вместе с ней и беспощадное понимание истинного положения дел.

В истории русской литературы был прецедент, когда писатель оставил после себя жену, малолетних детей, и о них позаботился государь. Литератор этот — Пушкин, образ и пример которого всегда стоял перед Достоевским. Вот и ему нежданно-негаданно представился случай замолвить словечко о детях. 9 декабря оба тома «Карамазовых» вышли в свет, а ровно через неделю, 16 декабря, автор одаривал своим творением в Аничковом дворце наследника престола. (Инициатива исходила от жены наследника, с которой писатель познакомился на одном из литературных вечеров.) Но вел себя при этом совершенно независимо и, уж конечно, абсолютно не думал о протоколе.

«Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной». Так написала об этой удивительной аудиенции дочь Достоевского Любовь Федоровна, которой было тогда 11 лет и которая при встрече, естественно, не присутствовала. Но, повзрослев, собрала по крохам все, что могла собрать об отце. «Наверное, — резюмировала она, — это был единственный случай в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным». Никаких просьб со стороны писателя не последовало, однако отец наследника Александр II сразу после смерти Достоевского (и ровно за месяц до собственной гибели) распорядился о пенсии для его вдовы и детей.

Ни на что подобное Федор Михайлович не рассчитывал. И уж тем более поведением своим во время аудиенции не заслужил. Первым, не дождавшись вопроса, говорил, вставал с места, поворачивался спиной... Легко представить себе, что подобная вольность в поведении с монаршей особой — вольность, граничащая с дерзостью, — могла вызвать досаду у будущего императора, досаду и даже гнев, но Достоевского это мало волновало. Достоевский мог ответить словами схимника из